



АРНОЛЬД

**БЕННЕТТ**





АРНОЛЬД  
**БЕННЕТТ**



Заживо погребенный  
Отель «Гранд Вавилон»



Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44  
Б46

Серия «Зарубежная классика»

Перевод с английского  
Е. Суриц («Заживо погребенный»),  
О. Акопян («Отель “Гранд Вавилон”»)

Серийное оформление А. Кудрявцева

Дизайн обложки Р. Алеева

**Беннетт, Арнольд.**

Б46 **Заживо погребенный; Отель «Гранд Вавилон»** : [романы] / Арнольд Беннетт ; [перевод с английского Е. Суриц, О. Акопян]. — Москва : Издательство АСТ, 2026. — 448 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-175146-3


Стремясь избавиться от назойливого внимания публики, известный, но крайне застенчивый художник Прайам Фарл, главный герой романа «Заживо погребенный», выдает себя за собственного умершего слугу. Лишившись роскошного дома и внушительного банковского счета, Прайам вынужден быстро приспособливаться к тяготам обычной жизни...

Повинуясь сиюминутной прихоти, самоуверенный американский миллионер покупает один из лучших лондонских отелей, среди регулярных постояльцев которого члены королевских родов и представители самых знатных семей Старого Света. Однако за внешней благопристойностью вывески «Гранд Вавилон» скрываются интриги, тайны и преступления, в чем новому владельцу очень быстро предстоит убедиться на собственном опыте.

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-175146-3

© Перевод. Е. Суриц, наследники, 2025

 Школа перевода В. Баканова, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2026



Заживо погребенный





## Глава I

### *Халат цвета бордо*

Особый угол наклона земной оси к плоскости эклиптики — тот угол, что всего более отвечает за географию нашу и, соответственно, нашу историю, — вызвал явление, в Лондоне именуемое летом. Летящий шар отворотился самой цивилизованной своею стороной от Солнца, произведя таким манером ночь на Селвуд-Террас в Саут-Кенсингтоне. В № 91 по Селвуд-Террас, две лампы — в первом и во втором этаже — без слов доказывали, что человеческая изобретательность в силах перехитрить природу. № 91 был один из десяти тысяч домов между Саут-Кенсингтон-Стейшн и Норт-Энд-роуд. Дом этот, со всеми неудобствами, с подвальной кухней, сотней приступок и ступенек, с нечистой совестью (он уморил несчетных слуг), заламывал к небу дымовые трубы и обреченно ждал дня Страшного суда для лондонских домов, решительно не замечая ни угла оси, ни скорости земной орбиты, ни даже опрометчивого лёта всей Солнечной системы сквозь пространство. Вы сразу чувствовали, что № 91 несчастен, и что осчастливить его может только вывеска «Сдается внаем» на фасаде и «Непригодно для жилья» на подвальных окнах. Но ни одним из этих преимуществ он не обладал. Годами пустуя, никогда он не бывал свободен. На всем своем благородном и широком жизненном пути ни разу не сдавался он внаем.

Зайдите же, вдохните атмосферу тоскующего дома, который обыкновенно пуст, но не сдается никогда. Все двенадцать его комнат погружены в унылый мрак, за исключением двух; подвальная кухня погружена в унылый мрак; и только эти две комнаты, как два ящика, один на другом, борются, бедняжки, с унынием десяти прочих! Пойдите-ка в темной прихожей, вверите эту атмосферу в свои легкие.

Главным, самым поразительным предметом в освещенной комнате первого этажа был халат — того цвета между лиловым и багровым, какой предки наши предпочитали называть «бордо»; одежда стеганая, подбитая лебяжьим пухом, легкая, как водород (почти), и теплая, как улыбка ласкового сердца; пусть старая, пусть кое-где и потертая одежда, пусть пропускавшая там-сям снежно-белое перо сквозь атласистые свои поры; и однако же — мечта, а не халат. Он безраздельно царствовал в нечистом, голом помещении, сияя роскошными своими складками в свете заменявшей солнце керосиновой лампы, водруженной на сигарный ящик на грязном сосновом столе. Керосиновая лампа имела стеклянный резервуар, шербоатое стекло, картонный козырек и стоила, надо полагать, меньше флорина; пять флоринов окупил б стол; прочая же обстановка — кресло, в котором раскинулся халат, стул, полка, три пачки сигарет и вешалка для брюк — тянули еще на десять флоринов. В потолочных углах, в тени козырька, пряталась сложная система паутины — совершенно в тон устлавшей голый пол серой пыли.

Внутри халата был человек. Человек этот достиг интересного возраста. Я разумею — того возраста, когда уж вы расстались с обольщениями детства, когда вы считаете, что познали жизнь, когда вы часто погружаетесь в раздумья о том, какие дивные гостинцы припасло вам будущее; возраста, короче говоря, самого романтическо-

го и нежного из всех возрастов (то есть у мужчины). Одним словом — пятидесятилетнего возраста. Возраста, нелепо принижаемого теми, кто его еще не достиг! Духоподъемного возраста! Как же трагически обманчива бывает внешность!

У обитателя бордового халата были: короткая седящая бородка и усы; густая шевелюра переходного окраса от перца к соли; множество морщинок во впадинах между глазами и свежей розовостью щек; и глаза эти были печальны; очень даже печальны. Встань он, распрямись, взгляни отвесно вниз, он бы увидел не свои шлепанцы, но выдавшуюся вперед пуговицу халата. Поймите меня правильно; я не намерен ничего скрывать; я вовсе не опровергаю цифр, записанных в блокноте у его портного. Ему было пятьдесят. Да, и как большинство пятидесятилетних мужчин, он был молод, очень даже молод, и, подобно большинству пятидесятилетних холостяков, он был скорей беспомощен. Он догадывался, что ему не очень повезло. Выковырай он, исследуй свою душу, и в ее глубинах он бы выискал печальное, жалостное желание, чтобы о нем позаботились, укрыли бы его, защитили от грубости и неустройства мира. Естественно, сам он в этом ни за что бы не признался. И можно ль ждать от пятидесятилетнего холостяка признания в том, что он похож на девятнадцатилетнюю девушку? Тем не менее, как ни странно, сердце пожившего, пятидесятилетнего холостяка и сердце девятнадцатилетней девушки похожи куда больше, чем девятнадцатилетние девушки могут себе представить; особенно если пятидесятилетний холостяк сидит, одинокий и покинутый, в два часа пополуночи, в унылой атмосфере дома, который пережил свои мечты. Ей-богу же, только пятидесятилетние холостяки меня поймут.

Остается неизвестным, о чем думают юные девушки, когда они думают; девушкам и самим это неизвестно. Как правило, одинокие мечты пятидесятилетних холостяков едва ли менее взывают к толкованию. Но обитатель бордового халата был исключением из правила. Он знал и мог без нас с вами объяснить, о чем он думает. В сей печальный час, в печальном месте, грустные мысли его были сосредоточены на блистательном, необычайном успехе, выпавшем на долю одаренного и славного создания, известного народам и газетам под именем Прайама Фарла.

### *Богатые и знаменитые*

В те дни, когда Новая галерея еще была новой, в ней была выставлена картина, подписанная неизвестным именем Прайама Фарла и вызвавшая такой шум, что месяцами потом культурный разговор без ссылок на нее считался прямо неприличным. То, что автор — великий художник, ни в ком не вызывало никаких сомнений; единственный вопрос, какой считали своим долгом решить культурные люди, был: величайший ли он художник всех времен и народов или только величайший художник со времен Веласкеса. Культурные люди и по сей день об этом спорили бы, не просочись, не дойди до них слух, что картина отвергнута Королевской академией. Культура Лондона тотчас забыла свои споры и сплотилась против Королевской академии — института, не имеющего права на существование. Дело дошло до парламента и даже заняло у законодателей целых три минуты. Напрасно Королевская академия стала бы ссылаться на то, что не заметила картины, ибо размеры ее были два на три метра; на ней изображен был полицейский, самый обыкновенный полицейский в натуральную величину, и то был неслыханный, пора-

зительный портрет, но мало этого: то было первое явление полицейского в высоком искусстве; говорят, преступники буквально от него шарахались. Нет уж! Никак Королевская академия не могла бы доказать, что не заметила картины. Честно говоря, Королевская академия и не доказывала, что случайно что-то проглядела. Не доказывала она и своего права на существование. Собственно, она и вообще ничего не доказывала. Она тихо-мирно продолжала существовать, ежедневно принимая сто пятьдесят фунтов шиллингами на свои полированные турникеты. О Прайаме Фарле не удавалось выяснить никаких подробностей, адрес же его был: «До Востребования, Сен-Мартен-Ле-Гран». Не один коллекционер, вдохновляясь верой в собственный вкус и благородным желанием поддержать отечественное искусство, пытался за несколько фунтов приобрести картину, и энтузиасты эти были задеты за живое и расстроены, узнав, что Прайам Фарл назначил цену 1000 фунтов — да за такие деньги редкую марку купить можно!

В результате картина осталась непроданной; и после того, как развлекательный журнал безуспешно призывал читателей опознать изображаемого полицейского, дело заглохло, и летняя публика привычно занялась вопросами о том, кто на ком собирается жениться.

Все ждали, естественно, что Прайам Фарл, как истари ведется среди тех, кто успешно трудится на благо Британской Живописи, предложит следующего полицейского Новой галерее, потом еще одного, и так далее, в продолжение двадцати лет, в конце какового срока Англия его признает любимейшим своим живописателем полицейских. Но Прайам Фарл вовсе ничего не предложил Новой галерее. Он будто забыл о Новой галерее, что выглядело невежливо с его стороны, чтоб не сказать неблагодарно. Наоборот даже, он взял и укра-

сил Парижский салон большим морским пейзажем, с пингвинами на переднем плане. Его пингвины стали на выставке гвоздем программы; они сделали пингвина самой модной птицей в Париже, и даже (спустя год) и в Лондоне. Французское правительство предлагало их выкупить за счет казны по сходной цене в пятьсот франков, но Прайам Фарл вместо этого их продал американскому коллекционеру Уитни С. Уитту за пять тысяч долларов. Скоро он продал тому же коллекционеру и полицейского, которого оставил было себе, — за десять тысяч долларов. Уитни Уитт был тот самый эксперт, который выложил двести тысяч долларов за Мадонну со святым Иосифом кисти Рафаэля. Вышеупомянутый развлекательный журнал вычислил, что если учитывать только площадь, занимаемую на холсте этим полицейским, рискованный коллекционер ухлопал по две гинеи на каждый его квадратный сантиметр.

И вот тут уж читатели газет проснулись и в один голос спросили:

— Да кто он такой, этот Прайам Фарл?

Вопрос остался без ответа, однако репутация Прайама Фарла отныне решительно упрочилась, и это несмотря на то, что он и не думал подчиняться правилам поведения, какие британское общество предписывает своим художникам, достигнувшим успеха. Во-первых, он даже не озаботился тем, чтобы родиться в Соединенных Штатах. Далее, ему следовало бы, месяцами отказываясь от интервью, сдать наконец на уговоры самой модной газеты. Следовало бы вернуться в Англию, отрастить гриву, хвост с кисточкой и стать царем зверей; или, по крайней мере, выступить, ну хоть бы на банкете, с речью о высокой, облагораживающей миссии искусства. И, наконец, ну что бы ему стоило написать портрет своего отца или деда в простой рабочей робе, чтоб доказать, что он не сноб? Ничуть не бывало!

Мало того, что каждая его картина нисколько не походила на предшествовавшие, он пренебрег всеми вышеуказанными формальностями — и при всем при том громоздил бешеный успех на бешеный успех. Есть люди, о которых только и скажешь, что им везет, как понтёру в удачный день. И вот такой был Прайам Фарл. За несколько лет он стал легендой, заманчивой загадкой. Никто не знал его; никто его не видел; никто не выходил за него замуж. Вечно за границей, он постоянно был предметом противоречивых толков. Самим Парфиттам, его агентам в Лондоне, ничего про него не было известно, кроме почерка — на оборотах чеков с четырехзначными числами. Продавали они в среднем по пять больших и по пять малых его полотен в год. Полотна прибывали ниоткуда, чеки отправлялись в никуда.

Юные художники, немевшие от восторга перед шедеврами его кисти, обогатившей все национальные галереи Европы (кроме, разумеется, той, что на Трафальгарской площади)\*, о нем грезили, его боготворили, жестоко ссорились из-за него, этого воплощения славы, роскоши, беспорочного совершенства, даже себе не представляя, что он тоже человек, как и они, вынужденный шнуровать ботинки, чистить палитру, что в груди его тоже бьется сердце и он безотчетно боится одиночества.

И вот наконец ему выпало высшее отличие, последнее доказательство того, что его оценили. Газеты взяли наконец манеру упоминать имя его без всяких пояснений. В точности так, как не пишут же они «Мистер А. Д. Балфур, известный политический деятель»\*\*, или «Сара Бернар, знаменитая актриса», или «Чарльз Пис,

\* То есть Национальной галереи в Лондоне.

\*\* Артур Джеймс Балфур (1848–1930) — премьер-министр Англии (1913–1920; 1935–1937).

исторический убийца», но просто «Мистер Балфур», «Сара Бернар», «Чарльз Пис»; так они теперь писали просто — «Прайам Фарл». И никто, никто в вагоне для курящих утреннего поезда не вынимал трубку изо рта, чтобы спросить: «А это кто еще такой?» Большой чести в Англии не может сподобиться никто. Прайам Фарл, первым из английских художников, дождался от общества такого высшего признания.

И вот он сидел в бордовом халате.

### *Ужасная тайна*

Колокольчик грянул в тишине тоскующего дома; громкий старомодный дребезг эхом раскатился над подвальной лестницей, достиг уха Прайама Фарла, и тот поднялся было, но снова сел. Он знал, что дело срочное, что надо открыть парадное, и кроме него, некому открыть; и тем не менее он мешкал.

Тут мы оставим Прайама Фарла, великого, богатого художника, ради кой-кого куда более занимательного — частного лица Прайама Фарла; и сразу перейдем к его ужасной тайне, к той роковой черте характера, которая и повлекла все престранные обстоятельства его жизни.

Как частное лицо, Прайам Фарл был отчаянно застенчив.

Он был ну совершенно не такой, как, скажем, вы да я. Не станем же мы, например, терзаться, если нам предстоит с кем-то познакомиться, занять апартаменты в гранд-отеле, или впервые войти в пышный дом, или пройти по комнате, в которой всюду сидят, или поспорить с величавой аристократкой на почте по ту сторону окошка, или пройти, скажем, мимо лавки, где мы слишком много задолжали. И краснеть, неметь, застывать на месте при мысли о таких простей-

ших, повседневных делах — такое глупое ребячество нам с вами и в голову не придет. Мы при всех обстоятельствах ведем себя естественно — и с чего бы разумному человеку вести себя иначе? Другое дело Прайам Фарл. Привлекать внимание мира к зримому факту своего существования — была для него мука мученическая. Вот в письме — о, там он мог быть абсолютно наглым. Дайте ему перо — и он становится бесстрашным.

Сейчас он знал, что надо пойти и открыть дверь. И человеколюбие, и личный интерес побуждали его пойти и открыть дверь безотлагательно. Ибо звонивший был, конечно, доктор, явившийся-таки навестить лежащего наверху больного. Больной этот был Генри Лик, а Генри Лик был дурной привычкой Прайама Фарла. Хотя отчасти мошенник (о чем догадывался хозяин), слуга он был великолепный. Вот как вы да я, никогда он не робел. Естественные вещи всегда он делал естественно. Постепенно, понемножку он стал необходим Прайаму Фарлу, как единственное средство сообщения между ним и человечеством. Из-за стеснительности хозяина, сходной с пугливостью оленя, эта парочка почти всегда держалась от Англии подальше, и в дальних странствиях Фарла неизменно выручал Лик. Видался со всеми, с кем следовало свидеться, подменял его во всем, что требовало личных встреч. И, как это свойственно дурным привычкам, Лик был дорог Прайаму Фарлу, ему необходим, и Прайам Фарл, конечно, с ним не мог расстаться, а потому год за годом, целых четверть века застенчивость Фарла росла вместе со славой и богатством. Хорошо еще, что Лик никогда не болел. Верней сказать, он никогда не болел до того самого дня, когда они — инкогнито, ненадолго — явились в Лондон. Момент он выбрал, ей-богу, самый неподходящий; ведь именно в Лондоне, в этом